

В. БРЮСОВ

НЕИЗДАННЫЙ ПЕРЕВОД ПЯТОГО АКТА ВТОРОЙ ЧАСТИ „ФАУСТА“

О «ФАУСТЕ»

У себя на родине Гете угрожает участь Клопштока, которого, по ядовитому замечанию Лессинга, все хвалят, но никто не читает. Сквозь юбилейный поток водянистых статей о Гете—лучшем цветке германского национального гения, апостоле и благовестнике внутреннего мира,—статей, тщетно маскирующих передачу упорно не вытанцовывающегося Goethejahr, промелькнули признания безупречно буржуазных изданий, свидетельствующие, что современный немец стоит далеко от Гете и им мало заинтересован¹. «Гете не берут!»—таков отзыв книготорговцев и библиотекарей; собрания его сочинений так прочно легли мертвым грузом на полках, что сделали сомнительным рентабельность нового издания Гете. Недалеко пожалуй время, когда в стране строящегося социализма Гете будет более популярен, чем в своем отечестве, ибо пролетариат умеет ценить великих мыслителей и художников старого мира лучше, чем впадшая в варварство буржуазия.

Это не значит конечно, что пролетариат примет Гете всего целиком, без остатка, как не значит, что к нему подойдут со школьной меркой «от сих и до сих пор». «Гете то колоссально велик,—писал о нем Энгельс,—то мелочен; то это непокорный, насмешливый, презирующий мир гений, то осторожный, всем довольный узкий филистер». У нас часто видят здесь лишь противоречие между великим поэтом и тайным советником, поэзией творчества и правдой жизни, Dichtung и Wahrheit. Надо обладать большой долей теоретической беззаботности, чтобы противопоставлять цельное творчество цельной жизни и считать это единственным противоречием. Само творчество Гете противоречиво, внутри его творчества «опасливый сын франкфуртского патриция» борется с гениальным поэтом, и победа не всегда на стороне последнего. Ленин часто напоминал большевикам о необходимости усвоить и переработать культурные ценности буржуазной эпохи; именно так, критически переоценивая, надо подойти к Гете и работать над той частью его наследства, которая принадлежит не прошлому, а будущему.

Гете писал Festspiel'u вроде «Маскарадного шествия по случаю высочайшего пребывания в Веймаре ее величества императрицы Марии Федоровны» (1818), прологи на «Счастлирое воссоединение герцогской семьи» (1807) и на подобные исторические случаи для увеселения правителей Веймарского уезда. Для кого зазвучит нынче это добровольно-принудительное творчество гехаймрата фон Гете? Кто кроме историков литературы станет перечитывать «Эрвина и Эльмиру», «Лилу», «Стеллу», «Клюдину» и «Эльпенору»?

Не с этой стороны подойдем мы к Гете, и советский Госиздат с полным правом отсеет для «избранного» Гете многое и многое из 133 томов собрания его сочинений.

Чем ближе мы подходим к Гете, тем больше начинаем его ценить. И чем больше мы ценим Гете, тем яснее нам место «Фауста» в гетевском творчестве.

Замысел «Фауста» возникает у Гете в ранней юности и провожает его до могилы. Двадцатилетним юношей он вынашивает в себе поэтический образ Фауста. «Многозначительная кукольная повесть (о Фаусте.—И.),—рассказывает Гете в «Поэзии и правде»,—звучала и жужжала во мне на многие голоса. Подобно ему я вращался во всех областях знания и очень рано убедился в его суетности. И я в своей жизни много испробовал и всегда возвращался все более и более неудовлетворенный и измученный. Все это, да и многое другое я вынашивал в себе и наслаждался им в часы одиночества»². В 25 лет, в 1774/75 г., Гете создает набросок первой части (так наз. «Urfaust»). Только в 1790 г. появляется в свет первый фрагмент

«Фауста». В 1806 г. заканчивается и в 1808 г. выходит наконец из печати первая часть «Фауста» в ее настоящем виде. Одновременно Гете работает над второй частью: в 1827 г. под заголовком «Классически-романтическая фантазмагория, интермедия к «Фаусту»» появляется «Елена», составившая позже третий акт второй части. Последние годы жизни Гете целиком занят работой над второй частью. Он заканчивает ее и запечатывает рукопись, чтобы к ней не возвращаться, но художник берет свое, и за восемь недель до смерти, 24 января 1832 г., распечатав пакет, Гете холодеющей рукой заносит в дневник: «Новые импульсы к работе над Фаустом, в смысле более широкого развития основных мотивов, которые, чтобы покончить дело, обработал слишком кратко». В печати вторая часть «Фауста» появилась уже после смерти Гете.

Свыше шести десятков лет шло созидание «Фауста». Его образ витал над Гете с университетской скамьи до раскрытой могилы. В нем он подводил итог кругу своих наблюдений и мыслей. «Фауст» — синтез гетевской философии, и именно философское богатство, мировоззренческая насыщенность подняли «Фауста» на заслуженную высоту в мировой литературе. И Гете не преувеличивал, назвав «Фауста» главным делом своей жизни.

В гетевской библиографии «фаустина» занимает почетное место. Буржуазные ученые всех мастей, философы и юристы, литературоведы и теологи написали тысячи книг о «Фаусте». Прочесть их не хватит человеческой жизни, но немногие из этих книг оправдают время, потраченное на их чтение.

Буржуазные литературоведы рассматривают «Фауста» по преимуществу под углом изучения состава, генезиса и истории текста, расшифровки содержащихся в нем намеков, литературных параллелей, выяснения биографических подробностей в связи с «Фаустом». Таким образом даже самые вдумчивые из этих работ, какова например Куно Фишера, по существу комментируют «Фауста», а не исследуют его. Это в лучшем случае! А в худшем — «исследования» посвящены изысканиям хронологической даты падения Гретхен³ (до или после сцены «Лес и пещера»? — Вопрос имеет свою литературу) или решению проблемы, проиграл ли по справедливости Фауст свое пари Мефистофелю, — тема, тоже оживленно дебатировавшаяся рьяными гетеанцами; кстати, ей посвятили много статей ученые юристы. Юристами же до тонкостей протрудирован жгучий вопрос, совершила ли Гретхен детоубийство «в состоянии невменяемости» или же «в состоянии уменьшенной вменяемости». С этим может сравниться только глубокомыслие современных немецких гелертеров, сочиняющих пудовые диссертации на темы «Зубы Гете», «Гете и автомобиль», «Очки в гетевскую эпоху» и т. д. Подобным сором заполнено изрядное число томов «фаустины».

Сам Гете издевался над этим сортом комментаторов: «Вот уже скоро тридцать лет как они [публика, критики], — говорил он Фальку, — бьются с помелами Вальпургиевой ночи и обезьяньими разговорами в кухне ведьмы, однако интерпретирование и аллегоризирование этих драматических, юмористических бессмыслиц что-то плохо дается. Поистине следует в молодости доставлять себе удовольствие ловить их на удочку такой чертовщины». И Гете мог переадресовать этим комментаторам реплику оркестра из той же Вальпургиевой ночи:

Fliegenschmazz' und Mückennas'
Mit ihren Anverwandten,
Frosch im Laub und Grill' im Gras,
Das sind die Musikanten!
(Комарьи, мушьи хоботки
Со всей родней талантов,
В траве лягушки и сверчки —
Вы — наш хор музыкантов!)

— для них она послужила бы прекрасным эпиграфом.

Еще больше томов занято изучением, так сказать, филологическим: историко-литературными и сравнительными глоссами к «Фаусту». В большинстве они заполнены крохоборческим, хотя и тяжеловесным уловлением и нанизыванием параллелей к «Фаусту» из мировой литературы. «Ползуние эмпирики», не поднимаясь над грудой фактов, далеки от сколько-нибудь принципиальных обобщений, но их кропотливый труд все же не бесплоден: в результате формальный состав «Фауста» давно и в общем хорошо выяснен.

У «Фауста» большая традиция: от кукольного театра и народных легенд о черно-книжниках до литературных предшественников. Начиная с обработки Шписа (XVII век), затем Марло, Лессинг, Клинггер, Мюллер, Вейдман и т. д.; в эту традиционную цепь Маркс добавляет одно новое звено: «Magico prodigioso» Кальдерона,

называя его в одном из писем «католическим Фаустом»,—из которого Гете почерпнул для своего «Фауста» не только отдельные места, но и целые сцены⁴. Досушие комментаторы «разъяснили» «Фауста» настолько, что, если разобрать его сюжет по косточкам, то окажется, что... собственно гетевского в нем почти нет: и сомнения Фауста, и договор с чортом, и приключения в Ауэрбаховском погребке и Елена—словом все, все «было раньше». Даже знаменитая цитата из вульгаты (канонический перевод библии на латинский язык) «Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum» («Будьте подобны богу, познаете добро и зло»), оказывается, фигурирует в источниках. Куно Фишер нашел ее в немецко-народной драме XVII века «Доктор Фауст». Все было прежде, все... кроме «Фауста». Говоря словами Гете,

... hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt, leider! nur das geistige Band.

(...все части держат в своей власти,
Лишь не хватает, увы, духовной части).

Как видно, сила не в легенде, не в формальной стороне сюжета, не в цитатах и заимствованиях. Столетние археологические раскопки в погоне за параллелями не приблизили нас ни на волос к пониманию бессмертной трагедии.

Важно не то, что Гете в з я л у других, а то, что он в н е с своего, ибо это—и только это—сделало «Фауста» тем, что он есть. Из чего и как слагался «Фауст»,—вопрос законный, но коренной вопрос: чем жив «Фауст»? Чему обязан «Фауст» века неувыдающим успехом? Решить загадку жизненности «Фауста» значит в то же время ответить, в чем его значение и для пролетарского читателя.

Нельзя сказать, чтобы буржуазное литературоведение не пыталось ответить и на эти вопросы, но что это были за ответы?! Куно Фишер вообще «снял» вопрос об идейной значимости «Фауста» и предложил простейшее из возможных решений проблемы. «Единство поэмы не там, где его обычно ищут, не в одной и той же основной идее, совокупляющей в себе и связывающей все части, но в личности и истории развития поэта», писал К. Фишер⁵. «Единство и противоречия ее не имеют другого прообраза, кроме самого Гете, никакого другого основания для ее объяснения, кроме перемен и противоречий в его собственных воззрениях на жизнь»⁶.

Не трудно заметить, что это столь подкупающее простотой решение на самом деле ничего не решает: противоречия поэмы объяснены противоречиями личности автора. Очень хорошо! Но чем бьяснить эти последние? Об этом Фишер умалчивает. Он только переносит трудности из одной области в другую: одно неизвестное он объясняет другим неизвестным. Однако от этого оно не становится яснее.

Другие маститые «ученые» истолковывают «Фауста» почти мистически—как откровение, эманацию «германского национального духа». Таков до наших дней лейтмотив немецкой буржуазной критики, во время юбилейных торжеств звучавший подавляюще мажорно. Но если бы эти господа дали себе труд п р о д у м а т ь затверженного ими на зубок «Фауста»,—они поняли бы, что то, что Гете говорит о «духе времени», относится не меньше и к «духу нации».

Was ihr den Geist der Zeiten heisst,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist⁷.

(Что духом времени слывет,
По существу дух нескольких господ).

Искать объяснения «Фауста» надо не в национальных, расовых корнях, как это делает современная буржуазная наука, а в классовых.

Неспособная понять Гете буржуазная наука пробует истолковать его, снизив Гете до уровня современного буржуа, и поставить на службу интересам империализма. Не надо думать, что приспособление Гете к потребностям капиталистического господства—дело новое; оно началось не с сегодняшнего и даже не со вчерашнего дня. Еще Бельшовский четко сформулировал линию, по которой нынче идет фальсификаторское «разъяснение» гетевского творчества: «Фауст»,—писал он,—евангелие примирения современного человека с жизнью на земле и с тем божественным, которое нам открывается в ней; оптимистическое исповедание веры в победу царства божия на земле»⁸. Отсюда—один шаг до превращения нынешними «исследователями» Гете в проповедника квиетизма и апостола Burgfrieden'a.

Пролетарское литературоведение прекрасно видит классовый смысл «объективности», «беспристрастности» и т. д. буржуазных ученых. Оно сводит Гете с Олимпа, где тот восседает, чуждый радостям и горестям грешной земли, в самый водоворот классовой борьбы. Оно разрушает легенду о Гете-небожителе и показывает Гете-

классового бойца. «Фауст»—«евангелие примирения»? Хорошо примирение! Именно в «Фаусте», как нигде, виден борец с консерватизмом отжившего социального порядка, страстный провозвестник нового общества. Революционная сила критического отрицания так сильна в «Фаусте», что сохранила значение не только для борьбы с феодализмом, но и для борьбы пролетариата. Указывая на двойственное отношение Гете к немецкому обществу своего времени, Энгельс говорит, что Гете «враждебен ему», восстает против него, как Гец, Прометей и Фауст, «осыпает его горькой насмешкой Мефистофеля»⁹. Гете подвергает в «Фаусте» едкой критике идеологические основы существующего порядка: право, религию, науку. Каким великолепным презрением к бумажному фетишизму звучат слова Фауста:

Allein ein Pergament, beschrieben und beprägt,
Ist ein Gespenst, vor dem sich alle scheuen.
Das Wort erstirbt schon in der Feder,
Die Herrschaft führen Wachs und Leder.

(Лист пергамента с печатями на нем—
Вот призрак, всех пугающий, к несчастью.
Мы слову смолкнуть на пере даем,
А воск и кожу—одаряем властью!)

С этими словами перекликается замечательная инвектива Мефистофеля, целиком подсказанная революционно-просветительским, руссоистским пониманием «естественного права»:

Es erben sich Gesetz und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort;
Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlecht.
Und rücken sich von Ort zu Ort.
Vernunft wird Unsinn, Wohltat—Plage;
Weh dir, dass du ein Enkel bist!
Vom Rechte, das mit uns geboren ist,
Von dem ist, leider! nie die Frage.

(Законы и права, наследное именье,
Как старую болезнь, с собой
Несет одно другому поколенью,
Одна страна стране другой.
Стал разум глупостью, заслуга—мукой,
Терпи за то, что внуком ты рожден.
А где ж врожденный нам закон,
Об том, увы, нигде ни звука).

Не таково ли его отношение и к официальной, казенной, бездушной науке?

Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider! auch Theologie
Durchaus studiert, mit heissem Bemühen.
Da steh' ich nun, ich armer Thörl
Und bin so klug, als wie zuvor.

(Ах, в философию я вник,
И в медицину, и в права,
Читал, увы, как ученик,
И богословские слова!
И вот я все же стою глупцом
И не умней, чем был в былом).

Этим пылким осуждением мертвых знаний открывается первая часть трагедии и оно же звучит до ее последних строк. Чего стоит Вагнер, незабываемый прообраз ученых буквоедов, размножением которых заняты капиталистические университеты! Вагнер говорит:

Des Vogels Fittig werd' ich nie beneiden!
Wie anders tragen uns die Geistesfreuden
Von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt.
(Нет, что мне крылья и зачем быть птицей!
Ах, то ли дело поглощать
За томом том, страницу за страницей)—

и он весь здесь, в этих словах,—«ничтожный червь сухой науки».

«Фауст»—«исповедание царства божия на земле! Трудно придумать что-нибудь более противное духу и содержанию «Фауста», чем попытка обрядить Гете в черную рясу. Фаусту, проклинаящему веру и терпенье, Фаусту, определившему бездонность поповского аппетита:

Die Kirche hat einen guten Magen

(У церкви божьей хороший желудок),

Фаусту, которому ненавистен унылый колокольный звон, Фаусту с его подчеркнуто земным символом веры:

Thor! wer dorthin die Augen blitzend richtet,
Sich über Wolken seines Gleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich um;
Dem Tüchtgen ist diese Welt nicht stumm.

(...Слепец,

Кто ищет равных нам за облаками!

Стань твердо здесь—и вокруг следи за всем:

Для мудрого и этот мир не нем.)

—этому Фаусту смеют навязывать поповщину! Энгельс говорил: «Гете неохотно имел дело с «богом»: от этого слова ему становилось не по себе; он чувствовал себя. как дома, только в человеческом, и эта человечность, это освобождение искусства от оков религии именно и составляет величие Гете»¹⁰. А Маркс писал эпиграммы в защиту язычника Гете от нападок попа Пусткухена. Именно это «самоуверенное язычество» Гете раздражало Льва Толстого и продолжает раздражать всех православных, католиков и протестантов, отдающих себе отчет в действии Гете. Любопытно и показательно отношение к «Фаусту» возглавляемого Людендорфом крыла германского фашизма. Недавно в издательстве Людендорфа вышла брошюрка генерала Роста, армейскому носу которого нельзя отказать в тонкости христианского чутья, где генерал от литературы квалифицирует «Фауста» как «франк-масонскую трагедию», а Мефистофеля как типично «еврейский элемент»¹¹.

Исходный пункт евангелия от Иоанна «В начале бе слово» превращается у Гете в евангелие «от Фауста»: «В начале было дело». К делу зовет Фауст и делом кончает свою жизнь. Здесь сказывается действительность Фауста, та неутомимая, ненасытная жажда деятельности, которая ни на минуту не дает ему удовлетворения, толкая вновь и вновь к борьбе за лучшее будущее человечества. И с этим как нельзя лучше гармонирует прекрасный вывод поэмы:

Das ist der Weisheit letzter Schluss:

Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss.

(Конечный вывод мудрости земной:

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идет на бой).

Это однако еще не дает права считать апофеоз «Фауста», «строительную горячку» последней части, за «пророческую грезу о социализме». Гете не поднимался даже до утопического социализма. Он мечтал о прорытии каналов, соединяющих материки, о новых землях, о производственном расцвете, но отношения людей в процессе производства—а именно здесь лежит критерий социалиста—его не занимали, а там, где он их касался (как в «Вильгельме Мейстере»), он решал их в противоположном социализму направлении¹². Это не упрек Гете: мы считаем, что он, таков, как есть, достаточно крупная фигура в истории культуры, чтобы быть оцененным пролетариатом, и не нуждается в прикрашивании.

Разбирая гегелевский тезис о разумности всего действительного и показывая, как он превращается в тезис: достойно гибели все, что существует, Энгельс сравнивает с этим реплику Мефистофеля:

Ich bin der Geist, der stets verneint!

Und das mit Recht, denn alles, was entsteht,

Ist wert, dass es zu Grunde geht.

(Я—дух, который вечно отрицает! Да так и следует, ибо все то, что возникает, достойно гибели).

Эта мысль поэта о постоянном переходе одного в другое, добра—во зло, истины—в заблуждение (припомним: *Vernunft wird Unsinn*), конечно же выражает в поэтическом образе диалектический закон. Так же хорошо усвоил Гете и положение диалектики о практике как критерии истины и выразил его классически.

Grau, theuer Freund, ist alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Baum.

(Теория, друг мой, сера,
Но зелено вечное дерево жизни).

С этой же точки зрения он издевался над метафизиками и схоластиками, у которых слово заслоняет дело, которые за буквой не видят жизни. И если печальный датский принц с презрением говорил «Слова, слова, слова...», то едкий скепсис Мефистофеля поет словам хвалу. Кто не знает его саркастического гимна:

....Wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein.
Mit Worten lässt sich trefflich streiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte lässt sich trefflich glauben,
Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben.

(Коль скоро недочет в понятиях случится,
Их можно словом заменить.
Словами диспуты ведутся,
Из слов системы создаются,
Словам должны вы доверять,
В словах нельзя ни иоты изменять).

Перебирая все эти наудачу взятые примеры (их можно было бы расширить до пределов книги), нельзя не увидеть в них литературного выражения борьбы, которую буржуазия вела с феодальным обществом. Более развитая и находящаяся в более счастливых исторических условиях французская буржуазия огнем и мечом разрушала старый строй; в Германии же «теория Великой французской революции» была переведена на язык классической философии. И здесь мы хотим особо подчеркнуть наличие у Гете, и именно в «Фаусте» в частности, того же могучего орудия, которое блестяще применял Гегель: диалектики. Конечно нельзя сравнивать логически развитую систему взглядов, возведенную в метод у Гегеля, с полустихийными, хотя и гениальными догадками у Гете. Но так или иначе, а зерно диалектики заложено в «Фаусте». И это первая причина его силы и популярности.

В центре трагедии стоит фигура протестанта, как бы раздваивающаяся на Фауста и Мефистофеля. Их нельзя брать врозь, они необходимо дополняют друг друга как отрешенные стороны единой сущности. Образ мятежной личности не случаен в «Фаусте»,—он соответствует всему творчеству Гете. Прежде им были Гец фон Берлихинген и Прометей, ныне это—Фауст. И даже Вертер, если вдуматься, не так далек от Фауста, как казалось бы на первый взгляд: Вертер также протестует против общественного порядка, нормы которого со всей резкостью повернулись против него. Но Вертер протестует по-своему, убивая себя; это акт борьбы еще не поднявшегося до осознания своих более широких задач и до самоутверждения в них индивидуума. Природа у них одна, но если Фауст изображает с и л у утверждающей себя буржуазной личности, то Вертер запечатлел ее с л а б о с т ь.

Таким же, как проповедь индивидуализма, выражением буржуазной идеологии поры ее расцвета является и действительность Фауста, его прагматизм, влечение к земному, осязаемому делу в противовес «слову», мечтательному, не связанному с действительностью логизированию. Слова Фауста:

Die That ist alles,
Nichts der Ruhm

(Мне дело—все,
а слава—вздор)—

слова борца, передового борца бывшего когда-то передовым класса.

Идеи «Фауста»—передовые идеи эпохи, а передовые идеи может выразить только передовой писатель, истинный идеолог своего класса, идущий в его авангарде и метким образом, художественным обобщением помогающий формированию мыслей и взглядов масс. Таким идеологом восходящей буржуазии и был Гете. Вот этот окры-

ленный дух, дух сбрасывающего путы и оковы старого общества человека, широко и смело созерцающего с высоты своей свободной мысли прошлое, настоящее и будущее человека, осмысливающий его истинное призвание, его взлеты и падения на этом пути, и создает то обаяние «Фауста», которым он подчинял себе поколения. Пролетариату во многом созвучны эти идеи, он понимает муки Прометея и находит



Автоиллюстрация Гете к «Фаусту» («Явление Духа земли»)
Goethe- Nationalmuseum, Веймар

на них отклик в своем сердце: поэтому и «Фауст» живет и будет жить в новом, социалистическом обществе не как запыленный документ эпохи восхода капитализма, а как живой источник вечно мятежной человеческой мысли.

Известно, какое колоссальное влияние оказал «Фауст» на мировую литературу. Не случайно он вдохновлял к переводу лучших поэтов. В России, к примеру, на нем испытывали силу Грибоедов, Жуковский, Веневитинов, Тютчев, К. Аксаков, Тургенев, Михайлов, Огарев, Фет, Вейнберг, Мережковский, Бальмонт, Брюсов, почти все корифеи русской поэзии, не говоря уже о *dû minores*. Пушкин также не остался в стороне от «Фауста»: легенда связывает его имя с первым полным русским переводом «Фауста» Э. М. Губера. Более интересна и значительна пушкинская попытка создать, отталкиваясь от Гете, своего Фауста,—замечательно, как в этой единственной сцене ему удалось создать оригинальный, глубоко отличный от гетевского образ Фауста. Иная социальная подкладка обусловила иную трактовку образа, но это заслуживает особого рассмотрения. Заговорив о послегетевских

«Фауста», нельзя не вспомнить Фридриха Энгельса. Мало кому известно, что молодой Энгельс также пробовал силы на «Фаусте»: «У меня теперь зарождается великолепный сюжет, по сравнению с которым все прежде написанное мной только детские игрушки. Я хочу в «сказочной повести» или в чем-нибудь подобном выжить современные чаяния, обнаружившиеся в середине века; я хочу вызвать к жизни духов, которые, погребенные под основанием церквей и подземных темниц, бились под твердой земной корою, стремясь к искуплению. Я хочу попытаться решить хотя бы часть той задачи, которую поставил себе Гуцков,—именно написать вторую подлинную часть Фауста, изобразить Фауста не эгоистом, а жертвующим собой за человечество»¹³. И среди марксистов Энгельс не остался одиноким. На наших глазах, после Октябрьской революции, появляется новая, возможно не последняя, попытка «дописать» «Фауста»,—«Фауст и город» А. В. Луначарского. Стало быть сила и жизненность «Фауста» до сих пор волнует умы и сердца, вызывает на соревнование даже в наши дни!

«Фауст» оказывал влияние не только на поэзию. Основоположники научного социализма умели понять и оценить его значение. Как известно, Маркс называл Гете в числе трех своих любимых поэтов. Он любил его, читал и перечитывал, прекрасно знал и был огорчен, когда кто-то «увел» сочинения Гете из его библиотеки. Читая как-то на досуге «*Magico prodigioso*» Кальдерона, первое, что он в нем отметил, было сходство с «Фаустом». Маркс, как и Энгельс, широко пользовался образами из Гете, и в первую очередь из «Фауста». В «Капитале» например известная характеристика «научности» прудоновской школы дается устами Мефистофеля, в ранних же работах Маркса и Энгельса Фауст и Мефистофель—постоянные гости. Энгельс не только мечтал «продолжить» «Фауста», но написал специальную статью о Гете и неоднократно подчеркивал свое уважение к нему.

Высоко стоял «Фауст» и в глазах Ленина. Н. К. Крупская рассказывает в своих воспоминаниях, что в сибирскую ссылку Ильича провожал томик «Фауста». Что Ленин не только знал «Фауста», но и высоко ценил его, видно из лестного отзыва, который он дал именно на основании «Фауста» о всем поэтическом творчестве Гете. Станным образом наши гетеведы и историки западной литературы прошли мимо этого важного высказывания; А. В. Луначарский например заявил, что ему неизвестны вообще отзывы Ленина о Гете, между тем достаточно взглянуть в общедоступное издание сочинений Ленина, в давно и широко известную статью «Заметки публициста», чтобы увидеть, что еще в 1920 г. Ленин, очень остроумно и удачно сравнивая Отто Бауэра с фаустовским Вагнером, который с восторгом переходит «от книжицы к книжке», прямо называет последнего «старым героем старой великой германской поэзии» (курсив мой.—И.) Эта категорическая оценка с не оставляющей сомнений ясностью показывает отношение Ленина к Гете в целом и к «Фаусту» в особенности.

О том же свидетельствует и то обстоятельство, что, цитируя Гете, Ленин по преимуществу пользуется «Фаустом». Интересно между прочим, что он взял из «Фауста»? Помимо только что упомянутой, Ленин остановил свое внимание на реплике Мефистофеля, где он ставит «живую жизнь», действительность выше всех теорий:

«Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни».

Ленину так понравилось это художественно-философское обобщение, что он его употребил дважды: в апреле 1917 г. в своей полемике против Каменева, когда писал:

«...Необходимо усвоить себе ту бесспорную истину, что марксист должен учитывать живую жизнь, точные факты действительности, а не продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня, которая, как всякая теория, в лучшем случае лишь намечает основное, общее, лишь приближается к охватыванию сложности жизни.

«Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни»¹⁴.

И второй раз, почти год спустя, 6 января 1918 г.:

«Не боги горшки обжигают»—эту истину должны крепче всего зарубить у себя рабочие и крестьяне. Они должны понять, что сейчас все дело в практике, что наступил именно тот исторический момент, когда теория превращается в практику, оживляется практикой, исправляется практикой, проверяется практикой, когда в особенности верны слова Маркса: «всякий шаг практического движения важнее дюжины программ», всякий шаг в деле практического реального обуздания, сокращения, взятый под полный учет и надзор богатых и жуликов важнее дюжины отменных рассуждений о социализме. Ибо «теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни»¹⁵.

Характерно, что Ленин берет у Гете не эффектную фразу, не рифму, не изысканное сравнение, а глубокое философское обобщение, закрепленное в художественной форме. Развив и аргументировав мысль, Ленин как бы подытоживает ее гетевским стихом и навсегда врезает в память читателя.

К сожалению советский читатель до сих пор не имеет соответствующего его запросам перевода «Фауста». Диалектическая гибкость мысли, нашедшей адекватное художественное выражение, составляющая совершенство поэмы, являла тем самым главную трудность перевода. И этого камня преткновения прежние переводчики не смогли одолеть: им приходилось либо жертвовать формой ради содержания (таковы все прозаические переводы), либо в интересах передачи музыки стиха наносить ущерб содержанию (большинство стихотворных переводов). Между тем форма «Фауста» содержательна, и без нее нет «Фауста». С другой стороны, перевод не равнодушен к содержанию, и каждый переводчик придает ему особый колорит, особенно чувствительно откликаясь на социально близкие ему самому мотивы произведения: так на каждом переводе мы найдем свой классовый отпечаток. Перевод Брюсова в наших глазах также не представляет идеала, но, должно признать, ему удалось справиться со многими трудностями. Как раз вторая—труднейшая—часть трагедии обработана Брюсовым лучше, чем прежде выпущенная первая часть. Не мало знакомых нам мест «Фауста» зазвучат по-русски иначе, чем мы обычно привыкли слышать. Несомненной заслугой Брюсова является щепетильное соблюдение размеров подлинника, рифмы которого зачастую совершенно исчезали в лучшем из старых переводов—в переводе Холодковского.

Из всего перевода, в недалеком будущем появляющегося отдельным изданием, мы заимствуем важнейший, наиболее интересный и значительный отрывок: заключительный (пятый) акт. В качестве специального комментария к нему ниже приводится статья Б. И. Пуришева, дающая подробную интерпретацию его в противовес буржуазной критике.

И. Ипполит

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. анкету «Berliner Börsenkurrier», 20 April 1932, № 72 и дискуссию в «Die literarische Welt», 18 Sept. 1931, № 38.

² «Поэзия и правда», II часть (цит. по гизовскому изд. «Фауста». М., 1928, стр. 297).

³ Вообще буржуазная критика во всем «Фаусте» больше всего заинтересовалась драмой обманутой девушки, которую Гегель (а позднее и Плеханов) считал незначительным эпизодом трагедии, от которого она не выигрывала.

⁴ Маркс и Энгельс, Сочинения, т. XXII, стр. 29.

⁵ Куно Фишер, «Фауст» Гете. М., 1885, стр. 11.

⁶ Там же, стр. 73—74.

⁷ Кстати, в «Коммунистическом манифесте» эта догадка Гете была переведена на язык материалистической диалектики: «Господствующими идеями данного времени всегда были только идеи господствующего класса».

⁸ А. Бельковский, Гете, его жизнь и произведения. М. 1908, т. II, стр. 601. Собственно эти строки принадлежат не Бельзовскому, а Г. Циглеру, закончившему работу Бельзовского после смерти последнего. Но что Циглер здесь ничуть не расходится с ним, видно из того, что и Бельковский считал «основную тему «Фауста» попыткой человека постичь бога, постигнув его, понять мир и вести в нем достойное жизни, исполненное бога, в лучшем смысле слова угодное богу существование» (там же, т. II, стр. 507).

⁹ Соч., т. V, стр. 450.

¹⁰ Соч., т. II, стр. 345.

¹¹ Goethes «Faust», eine Freimaurer-Tragödie von E. Rost, München.

¹² В том же «Фаусте»—ряд моментов, выразительно говорящих о наличии другой, антиволюнтарной стороны в его творчестве. В ответ на нарисованную Мефистофелем перспективу создания капиталистического города Фауст говорит:

Ну вот!

Нашел хорошую отраду.

Уже народ питай и грей, —

А после, смотришь, бунтарей

Ты воспитал себе в награду.

¹³ Соч., т. II, стр. 542.

¹⁴ Ленин, Сочинения, изд. 2-е, т. XX, стр. 101—102.

¹⁵ Ленин, Сочинения, изд. 2-е, т. XXII, стр. 165.

«ФАУСТ»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ, АКТ ПЯТЫЙ

I

Открытая местность

Странник

Да! Две старых липы рядом,
 В прежней мощи, предо мной.
 После долгих странствий—взглядом
 Вновь ласкаю вид родной.
 Снова я в краю счастливом,
 Подле хижины, где жил,
 В дни, когда ночным приливом
 На пески я кинут был.
 Тех хозяев, как и прежде,
 Встречу ль? Их достойней нет!
 Как довериться надежде?
 Были оба дряхлых лет.
 Ах! то люди, коих мало!
 Постучать? Позвать?—Но им—
 Мой привет, когда не стало
 В тягость им служить другим.

Бавкида

(старушка, очень древняя)

Тише, тише, странник милый.
 Ведь старик спит близко тут.
 В долгом сне лишь черплет силы
 Старость на свой краткий труд.

Странник

Ты ли, матушка, чей свято
 Образ память сберегла?
 Ты ли юноше когда-то
 Вместе с мужем жизнь спасла?
 Ты ль, Бавкида, кто вернула
 Крепость мне, чтоб вновь мне жить?

Муж (входит)

Филемон, ты ль, кто из гула
 Волн поспел мой скарб добыть?
 Не зажги вы пламень красный,
 Не пошли призывный звон,—
 Из пучины, в час опасный,
 Здесь я не был бы спасен.
 Дайте ж к морю обратиться,
 В даль безгранную взглянуть,
 Дайте ниц упасть, молиться,—
 Так полна волненьем грудь.

(Идет вперед по дюне)

Филемон (Бавкиде)

Стоял накроешь, где зеленый
 Сад цветами напоен;

Пусть побродит, изумленный,
И глазам не верит он.

(Идет следом)

Ф и л е м о н (стоя рядом со странником)
Здесь, где грозно поднимался
Вал за валом, бил чрез край,
Видишь, сад образовался,
Видишь, настоящий рай!
Я—старик, где у могилы
Мне, как встарь, других спасать!
Но, пока дряхлели силы,
Отступило море вспять.
Слуги мудрого владыки
Возвели валы плотин,
Там, где волны были дики,
Вместо них он—властелин.
Посмотри: стада по полю,
Нивы, сад, селенье, лес!
Но скорей любуйся вволю,
Солнце клонится с небес.—
Парусов семья стремится
В порт, их нам не перечсть,—
Так в гнездо несется птица,—
Ибо близко гавань есть.
Глядя в даль, ты видишь синий
Трепет моря, прежний вид,
Справа ж, слева, всюду ныне—
Новый край, где жизнь кипит.

II

В садике

За столом для троих

Б а в к и д а (страннику)

Что сидишь ты молча? Съел бы
Хоть кусок голодным ртом.

Ф и л е м о н

Он про чудо знать хотел бы,
Поболтай же вновь об том.

Б а в к и д а

Правда, чудо здесь свершилось,
Дай мне вспомнить ту пору.
Но боюсь, осуществилось
Это все не по добру.

Ф и л е м о н

Император разве к худу
Этот берег уступил?
Ведь герольд об этом всюду
Громогласно протрубил.
Близ от нашей дюны в море
Первый вал был проведен,
Лагерь, хижины.—А вскоре
И дворец восстал, как сон.

Б а в к и д а

Тщетно люди днем трудились,
 Роют, бьют лопата, лом.
 Ночью ж здесь огни светились,
 Утром, глядь, валы кругом.
 Жертв людских здесь много пало;
 Ночью ж стон везде стоял,
 Море, все в огне, бежало,
 Утром смотришь, вновь канал.
 Он—безбожник, взять намерен
 Нашу хату, наш удел.
 Как сосед, самоуверен,
 Все он ломит, груб и смел.

Ф и л е м о н

Предлагал он нам в долине
 Лучше место на все дни.

Б а в к и д а

Ах, не верь морской пучине,
 Высоту свою храни.

Ф и л е м о н

Не к часовне ль нам спуститься?
 На закат мы поглядим,
 Станем там звонить, молиться,
 И судьбу творцу вручим.

III

Дворец

Обширный изукрашенный сад, большой, прямо проведенный канал. Ф а у с т,
 в глубокой старости, бродит задумчиво.

Л и н к е й - б а ш е н н и к (в рупор)

Садится солнце, и в канале
 Идут последние суда;
 Большая барка на причале
 За ними тянется сюда.
 Там флагов пестрое движенье
 И мачт высоких бодрый ряд;
 Тебе шлют кормщики хваленье
 И счастье долгое сулят.

(Колокол звонит на дюне)

Ф а у с т (вздрагивая)

Проклятый звон! Он—оскорбленье,
 Как из засады выстрел он!
 Здесь без границ мои владенья,
 А за спиной я оскорблен.
 Твердят мне внятно эти всхлипы,
 Что власть моя предельна. Чьи
 Та хижина, и те две липы,
 И та часовня?—Не мои.
 Пойду ль гулять по той дороге,
 Чужая тень грозит всегда.
 О, сук в глаза, заноза в ноги!
 Готов бежать я, но куда?

Башенник (как прежде)
 Как бодро к вам летит ладья,
 Вечерний ветерок лоя!
 Как высока на ней гора
 Тюков и всякого добра!

Великолепная барка, богато и разнообразно нагруженная произведениями всех чужих стран.

Мефистофель. Трое Сильных Товарищей.

Хор

Причалъ, причалъ!
 Я якорь кину.
 Привет патрону,
 Господину.

Они сходят, товары выгружаются на берег.

Мефистофель

Наш кончен труд, на благо он,
 Когда похвалит нас патрон.
 На двух мы кораблях пошли,
 Их двадцать в пристань привели.
 Как много нами свершено,
 Расскажет то, что свезено.
 На вольном море волен дух,
 Там рассуждать не время вслух!
 Живей хватай, не то беда.
 Лови там рыб, лови суда!
 Поймал одно, тогда втроем
 Легко четвертое возьмем,
 С четвертым пятое забрав,
 Кто посильнее, тот и прав.
 Там спросят «что», не «как». Такой
 Закон люб в море всем, не мне лишь.
 Война, торговля и разбой,
 Вот троица, что не разделишь.

Трое Сильных Товарищей

Привета нет,
 Кивка нет, глянь!
 Иль мы везем
 Патрону дрянь?
 Суровы склад-
 ки гневных губ.
 Иль царский дар
 Ему не люб?

Мефистофель

Еще награды
 Вам ждать смешно;
 Вы взяли долю
 Свою давно.

Товарищи

Что взяли мы?
 Одно тряпье.
 По равной доле
 Делить бы все.

Мефистофель

Сперва несите
В царский дом
Сокровища все
Чередом.
Когда осмотрит
Он груз вещей,
То сам оценит
Их верней.
Ведь всем известно,
Он—не скупой,
Задаст он флоту
Пир горой.
Лишь завтра все слетятся птички;
Об них забота—мне в привычке.
(Груз убирают)

Мефистофель (Фаусту)

Ты сумрачен, взор недвижим,
Стоишь над счастьем своим.
Ты мудростью возвысил трон,
И морем брег усыновлен;
Оно покорно с берегов
Приемлет сонм твоих судов.
Здесь из дворца ты, так сказать,
Свой мир весь можешь обнимать.
Вот здесь был начат общий труд,
Стал первый твой шалаш вот тут,
Там узкий ров тянулся, где
Теперь бьют весла по воде;
Твой твердый ум, твой зоркий взор
Возвысил землю, дал простор,
Вот здесь...

Фауст

Клянусь я это «здесь»!
Его мне трудно перенести!
Тебе, бывалому, скажу я:
Шип за шипом меня язвит.
Терпеть все это не могу я,
Но и сознаться—острый стыд.
Пусть старики исчезнут! Жажду
Сесть там, под липой, в тишине!
Без тех двух-трех деревцев стражду,
Миродержавство—в муку мне.
Оттуда мир хочу постигнуть,
Там вышку должен я воздвигнуть,
Чтоб обнимал вполне мой взор
Весь мною созданный простор,
Чтоб озирали с высоты
Мощь человеческой мечты,
Как, силой мысли, создана
Народам новая страна.

Так я скорблю в избытке сил,
 В богатстве скудость ощутил;
 Церковный звон, лип аромат—
 Могильным запахом томят!
 Вот, всемогущий, я в тоске
 Разбит во прах на том песке.
 Нет воли победить томленье,
 Чуть зазвонят, я—в исступленьи!

Мефистофель

Понятно, дерзостью такой
 Твой должен быть смущен покой.
 Кто спорит? слыша в церкви звон,
 Слух благородный оскорблен;
 Проклятое бим-бом, бим-бом—
 Что язва в небе голубом,
 Вплетаясь в ваши все движенья
 С крещенья вплоть до погребенья,
 Как еслиб между бим и бом
 Вся жизнь была нелепым сном.

Фауст

Упрямство и строптивость—всех
 Смуют средь царственных утех;
 Томясь, бесясь по целым дням,
 Быть справедливым трудно нам.

Мефистофель

Об этом ли крушиться стоить?
 Есть план колонии устроить?

Фауст

Так убери ты их подальше.
 Ты знаешь чудный тот удел,
 Что старичкам я присмотрел.

Мефистофель

Их уберут, свезут по чести;
 Чуть взглянут, как на новом месте.
 Досаду маленьких обид
 Прелестный уголок смягчит.

(Он резко свистит. Трое Сильных появляются)

Мефистофель

Идем! Владыка дал приказ,
 А завтра будет пир у нас.

Трое

Сурово принял нас старик,
 Так праздник должен быть велик.

Мефистофель (к зрителям)

Все то же снова, что стократ!
 Был Новуфея вертоград!

IV

Глубокая ночь

Линкей-башенник (поет на вышке)

Я видеть родился,
 Смотреть присужден,
 Я с башней сроднился,
 Всем миром пленен.

Смотрю ли я в бездны,
Вниз кину ли взор —
Луна и сонм звездный,
Олени и бор.
И я, этой шири
Пленясь красотой,
Довольный всем в мире,
Доволен собой.
Счастливые очи!
Что видимо мне,—
Пусть будет, чем хочет,—
Прекрасно вполне.

(Пауза)

Только ль, ах! для наслажденья
Я стою на вышине!
Что за страшные виденья
Темный мир являет мне!
Блещут искры пред очами,
Где от лип вдвойне темно,
Все сильнее рдеет пламя,
Быстрым ветром взметено.
То—избушка, что от бора
Далеко и мхом одета;
Ей помочь бы нужно скоро,
Но надежды нет на это.
Старички! как вы боялись
Вздуть огонь неосторожно,
И в огне вы оказались.
Для судьбины все возможно.
Пламень ал и дымы свисли,
Только мхом черна ограда,
Ах, хозяева спаслись ли
Из пылающего ада!
Вьет огонь, как стрелы меток,
Между листьев, между веток.
Ветвь летит, другая, третья,
В искрах вся, треща, блестя..
Это ль должен усмотреть я,
Ах, зачем столь зорок я!
Валится часовня тоже,
Смята бременем ветвей,
До верхушки всходит строже
Пламя, свитое как змей,
И стволы от корня ало
Пурпур свой вонзают в ночь.

(Долгая пауза. Пение)

То, что взоры здесь пленяло,
Отошло с веками прочь.

Фауст (на балконе перед дюной)

Кто песней грустной высь тревожит?
То — запоздалый плач иль стон.

Линкей скорбит. И я, быть может,
 В душе поспешностью смущен.
 Пусть суждено тем липам ныне
 Золой и праздным пеплом стать.
 Воздвигну башню я в равнине,
 Чтоб бесконечность озирать.
 Оттуда буду новоселье
 Я видеть милых стариков,
 Что, с благодарностью, в весельи
 Окончат круг своих годов.

Мефистофель и Трое (внизу)

Мы прибежали, видишь сам.
 Прости! Неладно вышло там.
 Стучались мы, ломились мы,
 Ответа не было из тьмы.
 Вот мы трясем, мы бьем теперь,
 Летит с петель гнилая дверь;
 Кричим мы, громко мы зовем,
 Но нет нам отзыва ни в ком,
 И, как бывает зауряд,
 Не внемлют те и не хотят.
 Мы тут, не тратя лишних слов,
 Убрали силой стариков.
 Не жалуясь, она и он
 От страха—навзничь и дух вон!
 У них был некий странник скрыт,
 Он защищал их и убит.
 В тот краткий срок, что страшный бой
 Кипел, в солому сам собой
 Запал огонь. Он мигом—вспых,
 И вот костер для всех троих.

Фауст

На мой приказ ты глух был тож!
 Обмен был нужен, не грабеж.
 Проступок дикий и слепой
 Клянупу! Делите меж собой!

Хор

Есть слово древнее: Терпи!
 Насилью вольно уступи!
 А вступишь в бой, храни в бою
 Свой дом, свой двор и жизнь свою.

(Уходят)

Фауст (на балконе)

Померкли звезд лучи и свет,
 Огонь поник, пыланья нет:
 Повеял свежий ветерок,
 Несет ко мне чад и дымок.
 Я поспешил, спешили те...
 Что там за тени в темноте?

V

Полночь

Четыре мрачных женщины появляются.

Первая

Зовусь Нищетой я.

Вторая

Зовусь я Виной.

Третья

Зовусь я Заботой.

Четвертая

Зовусь я Нуждой.

Три

Здесь заперты двери, и нет нам пути,
Живет здесь богатый, к нему не войти.

Нищета

Там стану я тенью.

Вина

Ничто стану я.

Нужда

Он радостный лик отворотит от меня.

Забота

Вам, сестры, нельзя и не должно входить,
Забота ж умеет и в щели скользить.

(Забота исчезает)

Нищета

Вам, мрачные сестры, исчезнуть пора.

Вина

Бок-о-бок с тобою пойду я, сестра.

Нужда

Нужда вслед за вами пойдет без печали.

Три

Скрываются звезды и в тучах вся твердь.

Оттуда, оттуда! из глуби, из дали

Подходит сестрица, подходит, вот—Смерть.

Фауст (во дворце)

Пришли четыре, три ушли.

Смысл их речей невнятен был вдали.

Расслышал я нужда и твердь,

Как рифма следовала смерть.

Звук был так глух, был вестником судьбы.

Еще свободно я не вел борьбы.

О еслиб магию сумел изгнать я,

Вполне забыть все тайные заклатья,

С тобой, Природа, бой грудь с грудью длить,—

То было б ценно—человеком быть.

Таким я был, пока не рылся в мгле я,

Мир и себя еще проклясть не смея.

Теперь виденья всюду так кишат,

Что их ничей не избегает взгляд.

Пусть день, смеясь, их отгоняет прочь,

В сонм призраков нас вновь бросает ночь.

С полей весенних мы идем. В саду

Вдруг ворон каркнет; каркнет что? Беду.

Мы с предрассудками кругом срослись,—
Они пугают, нам грозят, сбылись,—
Наедине боимся мы всего.

Дверь проскрипела, но—здесь никого.

(Содрагается)

Здесь кто-то есть?

З а б о т а

Ответ беспорен: да!

Ф а у с т

Но кто, ты кто же?

З а б о т а

Я вошла сюда.

Ф а у с т

Прочь уходи!

З а б о т а

Останусь, так и знай.

Ф а у с т

(сначала раздраженный, потом успокоясь, про себя)

Приди в себя и чар не применяй.

З а б о т а

Слуху пусть неуловима,
В сердце я стучусь незримо;
В разных образах скользя,
Побеждаю силой я,
На путях и в бурном море
Ваша спутница на горе.
Не ища, меня найдут,
Будут льстить и проклянут.
Иль ты заботы ввек не знал?

Ф а у с т

Чрез мир я только пробегал;
За волоса хватал я все желанья,
Бросал, что чуждо, без вниманья,
Что прочь бежало, оставлял.
Я лишь хотел, осуществлял алчбу,
И жаждал вновь; и так свою судьбу
Провел, сначала буйно и тревожно,
Теперь иду разумно, осторожно.
Весь круг земли вполне изведаль я;
Что вне его, того постичь нельзя.
Глупец! кто тщетно ищет там глазами,—
Себе подобных мнит за облаками!
Стал твердо здесь, глядя вокруг: пред тем,
Кто полон сил, и этот мир не нем.
Зачем носиться по путям незримым,
Есть наслажденья в постижимом.
Возможно в том все дни свои замкнуть.
Пусть реют духи, ты свершай свой путь.
Восторг, как муки, обретешь в стремленьи—
Ты, не пресыщенный ни на мгновенье.

З а б о т а

Тот, чьим сном я овладела
Чужд надежд в природе целой;

Мглами жизнь его объята,
Нет восхода, нет заката,
Внешне пусть острее мысли,
Все ж в нем сумерки повисли,
Пусть сокровища он сложит,
Или он владеть не сможет.
В счастье, в бедах скорбь приветит,
В изобилии голод встретит,
Будь печально, будь отрадно,
Завтра станет ждать он жадно,
Только будущему веря,
Так всю жизнь желаньем меря.

Фауст

Молчи! ты не вползешь, как змей!
Не нужно болтовни подобной.
Прочь! вязь нелепых литаний
И мудрого смутить способна.

Забота

Вдаль итти? иль воротиться?
Неспособен он решиться.
Замедляет по дороге
Он неверный шаг в тревоге,
Заблуждаясь безвозвратно,
Видя все вокруг превратно,
Как других, себя смущая,
Задыхаясь, изнывая.
Жизни чужд, и не упавший,
Не смиренный, не восставший,
Так он, зыблем до могилы,
Бросить слаб, творить нет силы,
Не волён, не в заключеньи,
И во сне и в тяжком бденьи,
Все на месте, словно скован.
В жертву аду уготован.

Фауст

О злые призраки! Вы род людской
На сто ладов терзаете сурово,
Дни, что текут размеренной чредой,
Вы превращать в мучительство готовы.
От демонов, увы! бежать нельзя,
Духовных пут нам не порвать к несчастью;
Все ж ты, Забота, вкрадчиво скользя,
Меня своей не сломишь властью.

Забота

Ее признай же в миг, когда
Тебя с проклятьем я покину.
Пусть люди как слепцы всегда,
Ты, Фауст, встреть слепым свою кончину.

(Дует на него)

Фауст (ослеплен)

Ночь глубже все и глубже вкруг струится.
Но в глубине горит высокий свет;

Что я замыслил быстро да свершится;
 Властительное слово—вот завет.
 Вставайте, слуги! час работы бил!
 Пусть ярко встанет, что я смело мнил!
 Беритесь за лопаты! лом, за дело!
 То, что намечено, кончайте смело!
 Порядок стройный, спешный труд
 Награду пышную найдут.
 Довольно для возвышенных деяний
 Единого ума над тысячами дланей.

VI

Большой двор перед дворцом. Факелы. Мефистофель, как смотритель, впереди.

Мефистофель

Сюда, сюда, скорей, скорей,
 Лемуры в вечной дрожи,
 Творимые из жил, костей
 И связок полурожи!

Лемуры (хором)

Мы здесь, мы тотчас под рукой,
 Насколько разумею,
 Еще одной страной большой
 Мы скоро овладеем.
 Точеных копий вот запас,
 Вот цепи мерить цели:
 Но для чего позвали нас,
 Мы позабыть успели.

Мефистофель

Нет хитростей особых в том,
 Свой рост за меру вы примите;
 Длиннейший ляжет пусть ничком,
 А вы, другие, дерн вокруг скосите,
 Как ряд веков тому назад,
 И длинный вырежьте квадрат!
 Итти в могилу из дворца—
 Кто глупого избег конца!

Лемуры

(с насмешливыми ужимками копают)

Я молод был и я любил,
 Я жизнь считал за сказку.
 Чуть слышу звон, веселья зов,
 Пускались ноги в пляску.
 Но старость подошла, клюкой
 Схватив меня сердито;
 И вот я над могилой стал,
 Зачем она открыта!

Фауст (выходя из дворца, ошупывая притолоку)

Как сладостен мне этот стук лопат!
 Толпа свершает, что мне нужно.
 Земля сама с собой содружна,
 Возводит волнам ряд преград,
 Что море валом окуют.

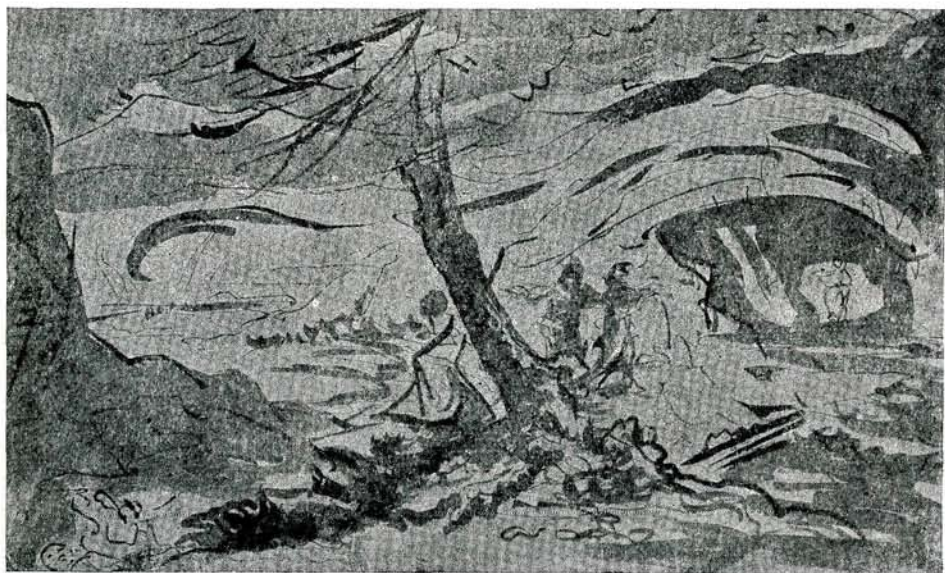
М е ф и с т о ф е л ь (в сторону)
 Ты лишь для нас трудился тут,
 Творя плотину да препону;
 Морскому черту, Посидону,
 Уготовлял ты пышный пир.
 Как ни трудись, но смертью ты отмечен,
 Союз стихий и ада вечен,
 Чтоб некогда сгубить весь мир.

Ф а у с т

Смотритель!

М е ф и с т о ф е л ь

Здесь!



Автоиллюстрация Гете к „Фаусту“ („Вальпургиева ночь“)
 Goethe- Nationalmuseum, Веймар

Ф а у с т

На всем пути
 Сбирать народ к работе надо;
 Влияй угрозой иль наградой,
 Зови, наказывай, плати,
 И каждый день мне подавай отчеты,
 Как над каналом движутся работы.

М е ф и с т о ф е л ь (вполголоса)

Мне кажется, так слухи мне твердили,
 Здесь не в канале дело, а в могиле.

Ф а у с т

Дыханьем местность заразив,
 У гор болота проржавели.
 Мы, топь гнилую осушив,
 Достигнем тем последней цели.
 Дадим мы место многим миллионам

Жить, пусть непрочно, но трудом законным
 Нив плодородных круг стадам и людям
 Даруя, землю новую добудем.
 Пусть поселится на холмах крутых
 Люд трудовой, сам воздвигая их.
 Так здесь возникнет край эдемский мой,
 И пусть о самый вал стучит прибой!
 Где ж он в плотине путь себе прогложет,—
 Содружный труд сейчас разрыв заложит.
 Мне эту истину открыли годы.
 В том смысл всей мудрости людской:
 Лишь тот достоин жизни и свободы,
 Кто день за днем за них вступает в бой.
 Здесь в вечном страхе пусть ведет года
 Ребенок, муж, старик, трудясь всегда.
 Ах, этой жизни видеть ход,
 Где волен край и волен весь народ,
 Тогда мгновенью я сказал бы:
 Помедли, так прекрасно ты!
 И след земной мой не пропал бы
 В зонах вечной темноты,
 В предчувствии той радости, старик,
 Я высшего мгновения достиг.

(Фауст падает навзничь, лемуры поднимают его и кладут на землю.)

М е ф и с т о ф е л ь

Не сыт восторгом, счастьем всем не сыт,
 Он все о новых призраках хлопочет;
 Пустой, последний, жалкий миг стоит,
 Но удержать его он хочет.
 В борьбе со мной он был велик,
 Но время—царь, пал на землю старик,
 Часы стоят.

Х о р

Как полночь, немые! встали,
 Упали стрелки.

М е ф и с т о ф е л ь

Сломаны, упали.

Х о р

Всему конец.

М е ф и с т о ф е л ь

Конец! нелепый звук.

Сказать смешно.

Конец и чистое ничто—одно.

Что значит вечное творенье

И сотворенного исчезновенье?

«Всему конец!» что б это означало!

Да то, что этого и не бывало,

Но, словно есть, в круг мчится бесконечно,—

За то и мило мне Пустое—вечно.

Положение во гроб.

Л е м у р (соло)

Кто строил этот тесный дом

Кирками и лопатой?

Л е м у р ы (хором)

Глухому в саване льняном —
Просторная палата!

Л е м у р (соло)

Где стулья, стол? Кто этот зал
Украсил так убого?

Л е м у р ы (хор)

Все это он на время взял,
А кредиторов много.

М е ф и с т о ф е л ь

Простерто тело, хочет дух бежать,
Я лист представляю, что подписан кровью,
Но, ах, умеют ныне по условию,
У черта души отнимать.
Не стало прежних нам дорог,
На новых с нами все не дружны:
Сам прежде все б свершить я мог,
Теперь помощники мне нужны.
Теперь дела ведешь едва.
Обычаи и старые права
Повсюду ныне ненадежны.
Последний вздох кончал все прежде; лишь
Слетит он, схватишь быстренькую мышь,
Цап, и в когтях уносишь осторожно.
Теперь душа в обители гнилой
Сидит упорно, дом боясь покинуть,
Пока стихий упорный бой
Ее не сможет силой ринуть.
Часы и дни трудись я незаметно,
К о г д а, г д е, к а к—я спрашиваю тщетно.
Смерть потеряла роковую мощь
И даже, правда ль, сразу не поймешь:
Случалось мне смотреть на труп остывший,
То был обман, вставал он, полон силы.
(Фантастические крылорукие, заклинающие движения.)
Сюда скорее! шаг удвойте ваш,
Чины прямого и кривого рога,
Чертей бывалых верная подмога,
Сюда внесите адский запах наш.
У ада пастей много, много,
В черед, по званью ловит он во тьму,
Но в дни последние, теперь—не строго
Все стали относиться и к тому.
(Чудовищная адская пасть разверзается слева.)
Разверзлась челюсть, силы преисподней
Взметают пламя к вышине,
И в глуби, где дороги безысходней,
Сверкает Град в немеркнущем огне.
Высот до зубов его взметнулась пена,
Спастись надеясь, грешники плывут,—
Но зев сжимает грозная гиена,
Вновь в красное жерло они падут.

В углах еще безмерная громада
 Мучительств, хоть предел и огражден.
 Пугайте грешных ужасами ада!
 Ведь все для них—лишь бред, и ложь, и сон!
 (К толстым бесам короткого прямого рога.)
 Вы, краснорожие пузаны,
 На адской сере вздутые везде,
 С короткой шеей, низкие чурбаны,
 Смотрите, фосфор не зажжется ль где.
 То—душенька, то крылья мчат Психею;
 Сорвите их, и стать ей лишь червем!
 Чтоб, заклеив печатю свою,
 Ее повлек я в огнебурный гром.
 За нижней областью следите,
 Пузаны, это ваш обет.
 Не тем ли скрыты жизни нити,
 Ответа точного нам нет.
 Пуп ей, всего вернее, дом.
 Эй, не зевать, не то скользнет тайком.
 (К худым бесам длинного кривого рога.)
 Гиганты, крылорукие верзилы,
 Смотрите вверх вы, тоже не зевать!
 Готовьте руки, в когти влейте силы,
 Чтоб на лету беглянку задержать,
 Наверно ей несносно стало там,
 А гений жаждет взвиться к небесам.
 Сияние свьше, справа.

Небесное воинство

Длите, посланники,
 Неба избранники,
 Радостный лет.
 Грех да простится,
 Прах оживится,
 Всему, что в природе,
 Дорогу к свободе
 Да созидает
 Нам медленный ход.

Мефистофель

Нескладный хор, противность бормотанья
 С ненужным днем без нужды сходит к нам.
 Вверху там дево-юношей взыванья,
 Любезные лишь сумрачным ханжам.
 Им ведомо, как в час, всегда проклятый,
 Стремились мы весь род людской сгубить,
 Но что нашли мы, худшее трикраты,
 Казалось им достойным быть.
 Они явились, лицемеры!
 Нас много раз они свергали в прах.
 Как мы, такие ж принимая меры,
 Все те же черти, в клобуках!
 Стыдом нам было б уступить им внове!
 К могиле все, и будьте наготове!

Хор ангелов (рассыпая розы)
Розы цветущие,
Бальзамы льющие,
Гирлянды вьющие,
Всем жизнь дающие,
В ветках крыленные,
В почках рожденные,
Скройте весь край!
В зелени, в пурпуре
Дайте нам май!
Здесь же простертому—
Радостный рай!

Мефистофель (к дьяволам)
Что гнетесь, жметесь? Тот ли жар в аду!
Держитесь твердо, пусть их сеют,
Стой каждый смело в череду!
Иль думают, цветов блестящих сеть
Чертей горячих может одолеть?
В дыханьи вашем гаснет, блекнет все,
Ну, дуйте, рожи,—будет, будет, стой!
От вашей мочи сгинет тот рой,
Не так жестоко, нос и пасть заткнули б!
Эй, слишком сильно выдохнули!
И должной меры все не сохранят.
Не сохнут—лишь трещат, блестят, горят.
На нас летит, жжет нас огонь тлетворный,
Сплотитесь вместе, будьте все упорны!
Слабеет мощь, нет сил с огнем таким!
Ах, чуют черти жар несродный им.

Ангелы

Цветенье священное,
Пламя блаженное,
Любовь раздают они,
Радость несут они,
Врачуя сердца!
Истины слово
С эфира благого,—
В хоре их снова
День без конца!

Мефистофель

О стыд! о вечный срам над нами!
Все черти стали вверх ногами,
Бездельники, поднявши зад,
Все в бездну кувырком стремятся,
Чтоб от ожогов искупаться,—в ад.
Но твердо я решил остаться.

(Сражаясь с пылающими розами)

Ну, что горишь, блудящий огонек!
Ты, схвачен, станешь лишь простой комок.
Сгинь, пропади, чего горишь без меры,
Затылок жжет, как зной смолы и серы.

А н г е л ы (хор)

Тех, что здесь чужды вам,
 Вы не касайтесь;
 Тех, что враждебны нам,
 Вечно чуждайтесь.
 Он и надменен будь,
 Твердо храним мы путь,
 Любящих взносит
 Только любовь.

М е ф и с т о ф е л ь

Затылок, сердце, печень—все горит.
 Сверхдьявольский огонь палит,
 Чем и в аду жесточе.
 Вот почему вы стонете все ночи,
 Несчастные влюбленные, и бред,
 Ломая шеи, мчите милой вслед.
 И я! Зачем в их сторону гляжу я?
 Не жил ли, с ними я всегда враждуя?
 К ним взор всегда бросал я, как к врагу.
 Что чуждое насквозь мне грудь пронзило?
 В молодках этих все мне ныне мило;
 Я почему ж ругать их не могу!
 Но если вдамся я в обманы,
 Кто здесь предстанет дураком?
 Противные мне мальчуганы,
 Сегодня вы по сердцу мне во всем.
 Милашки-деточки хочу узнать я,
 Не Люцифером ли вы рождены?
 Прекрасны вы, вас жажду целовать я,
 По-моему, вы здесь и быть должны.
 Мне так естественно, так ладно,
 Как еслиб я без счета видел вас,
 По-кошачьи мне здесь отратно,
 Смотрю—и все милей вы каждый раз.
 Идите ближе, бросьте мне хоть взгляд!

А н г е л ы

Подходим мы, но ты бежишь назад!
 Мы близимся, коль можешь, не уйди!
 (Ангелы разлетаясь, заполняют все пространство.)
 М е ф и с т о ф е л ь (оттиснутый на авансцену)
 Вы нас зовете духами паденья,
 Но колдунов и в вас уменье,—
 Мужчин и жен сбивать с пути!
 Нелепейшее приключение!
 Любви ль стихия такова?
 Горит все тело, но в волненьи
 Огня не ощущает голова.—
 Взлетают ввысь и вниз! Поближе рейте,
 Чуть-чуть земного в прелесть членов влейте!
 Мила, конечно, строгость в вас,
 Но улыбнуться должно вам хоть раз!
 То было б мне навек усладой,

Желал бы я влюбленных взгляда.
Одна черта у губ, ну поскорей!
Ты, длинный, всех других ты краше!
Поповские оставьте мины ваши.
Взгляните на меня чуть-чуть страстней!
Могли бы вы летать обнажены,
Рубашки эти длинны чрезмерно,—
Несутся прочь,—спиной обращены!—
Но все ж каналы лакомы,—то верно.

Хор ангелов

Пусть воссияет
Пламень любовный,
Пусть и греховный
Истину знает!
Чтобы все злое
Стихло в покое,
Чтоб в сонме духов он
Счастье обрел.

Мефистофель (овладевая собой)

Но что со мной!—Как Иов, рана к ране,
Я сам себе в болячках страшен стал.
Но торжествую я, во мне былой закал,
Себе я верен, род свой не продал,
Дух дьявола во мне спасен заране!
Любовный пыл сквозь волдыри пропал,
Проклятого огня не ощущаю,
Я всех вас, как и должно, проклиная.

Хор ангелов

Пламя святое,
Кто им окутан,
Входит в приют он,
Где неземное,
От пепелища
К небу спешит.
Воздух очищен,
Дух им дышит!

(Они возносятся, унося, что было бессмертного в Фаусте)

Мефистофель (озираясь)

Но что ж!—Куда исчезли те, что были?
Молокососами я проведен,
Они с добычей к небу воспарили,
Затем и был ко рву их рой стеснен.
Великий клад, единственный, утрачен,
Высокий дух, что мной уже был схвачен,
Так ловко у меня похищен он.
Куда мне с жалобой явиться,
Кто защитит права мои?
На старости сумел ты осрамиться
И заслужил страдания свои!
Я вел себя совсем позорно,
Плод долгих замыслов, увы! исчез;
Простая похоть, пыл любовный, вздорный

Тебя смутил, бывалый бес!
 И в эти детски-глупые дела
 Мог вдаться ум, тебе подобный!
 Да, надо верить, Глупость не мала,
 Когда своих сразить способна.

VII

Горные ущелья,
 лес, скалы, пустыня
 Святые отшельники (разделенные по скалам, расположились между
 пропастями)

Хор и Эхо

Лес, он шумит кругом,
 Скалы объаты сном,
 Корни покрыты мхом,
 Ствол загражден стволom;
 Ключ за ключем бежит,
 Пропась, глубоко, спит;
 Лев, подходя как друг,
 Бродит близ нас, вокруг,
 Звери покорно чтут
 Высшей любви приют.

Pater extaticus

(паря ввысь и вниз)

Вечный блаженства жар,
 Светлой любви дар,
 Боль, что сжигает грудь,
 Пенистый к богу путь.
 Дрот, порази меня,
 Пика, пронзи меня,
 Млат, раздоби меня,
 Молния, жги меня!
 Чтоб все ничтожное
 Гибло, как ложное,
 Встаньте навек звездой
 Зерна любви святой!

Pater profundis

(низшая область)

Как пропасть здесь у ног открыта,
 Над низшей пропастью склонясь,
 Как сто ручьев бурлят сердито,
 Все взнесены во глубь стремясь,
 Как мощно, силой им присущей,
 Стволы возносятся в эфир,—
 Так и любовью всемогущей
 Мир сотворен и дышит мир.
 Вокруг меня глухие бури,
 С горами будто спорит бор,
 И все ж бегут, полны лазури,
 Ручьи на блещущий простор,—
 Долину оросить спокойно;
 И молния, летя во прах,

Весь воздух очищает знойно,
 Сжигая яд в его парах.
 То—вестники! Чем все объято,
 Чем живо, нам вещают вслух!
 Пусть и во всем пылает свято
 Мой смутный, мой холодный дух,
 В оковы мысли заключенный,
 Полураздавленный в кости!
 Смири, о боже, ум смущенный,
 И сумрак сердца просвети!

Pater Seraphicus
 (средняя область)

Что за облачко там реет.
 В тьме сосновой, через бор?
 Как понять, что в нем светлеет!
 Это—юных духов хор.

Хор блаженных Младенцев
 Молви, отче, где мы, где мы,
 Молви, добрый, что мы, кто?
 Но блаженны все мы, все мы
 Бытием, что в нас влито.

Pater Seraphicus

Дети! полночью вы взяты,
 Не раскрыв свой ум и дух,
 Вы—родителей утраты,
 Ангелов—прибыток вдруг.
 Чуя с любящим сближение,
 Поднимайтесь! все—сюда!
 Но земного тяготенья
 На счастливых нет следа.
 Вы в мой взор вполне войдите,
 Орган мира и земли,
 Как своим вы им смотрите
 На страну, куда вошли.

(Принимает их в себя)

Это—лес, а это—скалы,
 То поток, что как-нибудь
 Дико мчится, одичалый,
 Сокращая длинный путь.

Блаженные Младенцы (изнутри)
 Вид величеством пленяет,
 Но он грозен, как снести!
 Страх и ужас обвевают,
 Добрый, добрый, отпусти!

Pater Seraphicus

Возноситесь к высшей сфере,
 Вечно выше, в синеву.
 Укрепляясь в полной мере
 Приближеньем к божеству.
 Духам нет иных условий,
 Что в эфире чистом мчатся,—

Откровением любви
До блаженства возвышаться.

Хор блаженных Младенцев (кружась над высочайшей вершиной)

Руки сомкните,
Радостно в круг спеша,
Пойте, летите,
Жаждой святой дыша!
Правду нашли мы!
Верьте ж мечтам!
Тот, нами чтимый
Явится нам.

Ангелы (паря в высших кругах атмосферы, унося бессмертного Фауста)

Духовных сфер член благородный
От мира зла спасен;
Чей жил исканьем дух свободный,
Не будет осужден.
А если и любовь осветит
Его с своих высот,
Сердечно хор блаженный встретит
Его с земли приход.

Младшие ангелы

Эти розы, что роняли
Грешниц кающиеся длани,
Победить нам помогали,
Завершили подвиг брани,—
Ценный дух мы взяли в руки;
Мы бросаем—черти никнут.
Попадаем—злые вскрикнут.
Вместо вечной адской муки,
Жгла любовь их страстью ярой.
Даже главный Дьявол старый
Той же мукой был волнуем.
Победили! Возликуем!

Более совершенные ангелы

Земное возносить
Нас все ж тревожит,
Хоть чист он,—чище быть
Асбест не может.
Когда могучий дух
Вберет стихии,
То серафимов круг
Узы двойные
Не в силах рушить вновь
Четы подобной;
Лишь вечная любовь
На то способна.

Младшие ангелы

Дыма идущего
В высь неземную,—
Духа присущего
Близость я чую,
Тучки—светлей, светлей;

Вижу я хор детей,
 В смерти блаженный,
 Сбросив весь гнет земной,
 В лучшей вселенной
 Он восстает,
 Счастлив иной весной
 Вечных высот.
 Пусть на заре времен
 К солнцу их приобщен
 Будет и тот!

Блаженные дети
 Дружно приемлем мы
 Дух, что в личинке там;
 Тем получаем мы
 Ангелов помощь нам.
 Пусть падут узы все
 Памяти тленной;
 Взрос и созрел уже
 Он к жизни блаженной.

D o c t o r M a r i a n u s
 (в высшей чистейшей келии)

Вносится дух и взгляд,
 Дали—без меры.
 Женщины здесь пряят
 В высшие сферы,
 И, чтоб вести сердца,
 В звездной короне
 Неба Владычица
 Блещет на троне.

(Восторженно)

О, владычица миров,
 Дай мне в вечной сини,
 Где простерт твой светлый кров,
 Зреть твои святыни!
 То прими, что в нас волной,
 В страсти строгой, бродит
 И любовью неземной
 Нас к тебе возводит.
 Где ты с нами, наших сил
 Воля необорна,
 Но ты гасишь буйный пыл
 Лаской миротворной,
 Дева вечной чистоты,
 Мать, что нами чтится,
 Славима будь с богом ты
 Наравне, царица!
 Тучки кружатся вокруг,
 Пухом мелькая,—
 Грешниц раскаянных
 Светлая стая,
 Льнут у твоих колен
 В чистом эфире

С мольбой о мире.
 Ты же, неприступная,
 Ты не воспретила,
 Чтоб душа преступная
 Пред тобой молила.
 В нашей слабости искать
 Путь спасенья праздно;
 Силой собственной порвать
 Как нам цепь соблазна?
 Ноги крепко ли стоят
 Там, на почве зыбкой?
 Ах кого то речь, то взгляд
 Не влекут в ошибку!

Mater gloriosa (парит в высоте)

Хор кающихся грешниц

Ввысь от земли ты
 Паришь, блаженная,
 Мольбам внемли ты,
 О несравненная,

В прощеньях щедрая!

Magna pateratrix (от Луки VII, 36)

Ради той любви, струившей

Токи слез, как ток елея,

Ноги господы омывшей

Перед гневом фарисея,

Ради урны, проливавшей

Миро над его ногами,

Ради грешной, отиравшей

Их своими волосами—

Mulier Samaritana (от Иоанна IV)

Ради кладезя, где пило

Древле стадо Авраама,

Той бадьи, что подносила

Я к устам Христовым прямо,

Ради чистого потока,

Что оттуда льется щедро,

Изобильно и широко

Проникая во все недра—

Maria Aegyptiaca (*Acta Sanctorum*)

Ради камня, где лежало

Тело бога в пеленах,

Той руки, что отстраняла

Ласково меня в дверях,

Той пустыни, где рыдала

Я все сорок лет в тоске,

И тех слов, что начертала

В час предсмертный на песке.

Все три

Ты вешних грешниц взгляды

От себя не отстраняешь,

Им раскаянья награды

В вечности не возбраняешь;

К сей несчастной взор склоняя,

Впавшей раз лишь в заблужденье,
 Что грешит, не сознавая,
 Даруй ей свое прощенье!

U n a p o e n i t e n t i u m (прежде именовавшаяся Гретхен, присоединяется к ним)

Да смилосердится,
 О, скорбивевица,
 Лучами щедрая,
 Над моим спасеньем облик твой!
 Любимый прежде,
 Вернут надежде,
 Вновь предо мной!

Б л а ж е н н ы е д е т и (приближаясь в круговом движении)

Опередил нас он
 Могучим лётom;
 Воздаст награду он
 По всем заботам.
 Нам рано жизни сон
 Пришлось оставить;
 Но был наставлен он
 И нас наставить.

О д н а и з к а ю щ и х с я (прежде именовавшаяся Гретхен)

Пришлец, вступая в сонм лучистый,
 Еще все видит как сквозь сон,
 Но чуть вздохнет он жизнью чистой,
 Уже блаженным сроден он.
 Взгляни, как ветхого земного
 Он узы торопливо рвет,
 Как из эфирного покрова
 Вновь мощно юность предстает!
 Дозволь мне быть ему примером,
 Еще он новым днем слепим.

M a t e r g l o r i o s a

Иди! взнесись к предельным сферам,
 Он—за тобой, ты—выше, с ним!

D o c t o r M a r i a n u s (молит, павши ниц)

Взгляните ввысь, спасенья лик
 Встретьте в умиленьи,
 Шлите за блаженный миг
 Вы благодаренье!
 В каждой правой мысли суть—
 Ты лишь неуклонно;
 Дева, мать, царица, будь
 К нам век благосклонна!

C h o r u s m y s t i c u s

Что все тленное?
 Символ оно.
 Здесь неизменное
 Воплощено,
 Здесь, бесконечное,
 Осуществись!
 Женственно-вечное
 Вносит нас ввысь!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Когда на склоне лет человек заболевает неизлечимым недугом и, сохраняя ясность сознания, следит за медленным, но пагубным его развитием, он должен обладать очень сильно развитыми позитивными силами, чтобы, беспристрастно обзрев сон своей жизни, не воскликнуть вместе с проповедником: «Я видел все, что свершается под солнцем, и скажу, что то лишь суета и горе».

Среди неслыханного, но слишком очевидного умирания культуры целой эпохи, если даже не части света, овеванной дыханием смерти, критически обзревая до конца изжитую культуру, мы крайне склонны все находить проблематичным, даже то, что прежде таковым не казалось... и, в первую очередь, великие символические образы, в которых прошлое себя предчувствовало, истолковывало, познавало и прославляло.

Так вышедший из войны мир отчасти обращен уже к Фаусту: душой, обильно причастившейся смерти, чья незабываемая некогда вера в абсолютный смысл «фаустовского стремления» в какой-либо мере оказалась потрясенной» (K. J. Obenauer, *Der faustische Mensch. Vierzehn Betrachtungen zum zweiten Teil von Goethes Faust*. Jena, 1922).

Приведенные строки, принадлежащие перу видного буржуазного ученого-гетеанца, очень ясно говорят о причинах того обостренного внимания к «Фаусту» Гете, которое столь типично для буржуазного литературоведения последнего десятилетия. Пораженная «неизлечимым недугом», «овеванная дыханием смерти» современная немецкая буржуазия устремляется к образам своего великого прошлого, чтобы в них почерпнуть силы, найти оплот против надвигающейся гибели. Это прошлое представляется ей «сияющим», тем более привлекательным, чем менее успокоительны ее виды на будущее. «Мы чествуем в нем (в лице создателя «Фауста» — Б. П.) наше сияющее прошлое, ибо наше будущее покрыто мраком», говорится в предисловии к одной из книг, посвященных юбилею Гете («*Deutscher Almanach für das Jahr 1932*». Leipzig, 1932).

В этом причина такого экстатического «открытия» гетевского «Фауста», рисуемого современной буржуазии своего рода монсальватом «национального духа», в котором не могут не таиться разгадки всех мучительных тайн современности, в сияющем блеске которого буржуазия наших дней надеется «gesund sich baden» («купаться здоровой», «Фауст», ч. I, сц. I). Все это ведет к культу «Фауста», какого никогда пожалуй не знала Германия, создает огромную литературу о нем и вместе с тем поднимает волну легенд о «Фаусте», попыток «истолковать» его применительно к интересам вступающей в полосу «мрака» буржуазии.

О. Шпенглер например, говоря о Фаусте как величайшем символе «нового времени», истолковывает путь Фауста, как стремление «фаустовской души» освободиться от земного и тем самым преодолеть свое трагическое одиночество. Ее высший идеал — Мадонна. В истолковании Шпенглера «Фауст» Гете — своего рода вариант Парсифаля Вольфрама фон Эшенбаха. У Обенауэра Гете явственно приобретает черты Плотина, Якова Бема, чуть ли не Владимира Соловьева. В его истолковании Фауст — законченный христианин, поскольку «идеальная сила, влекущая его на борьбу с хаосом», — вполне «христианский импульс». Для К. Бензингера (K. B e n s i n g e r, *Was bedeutet die Goethesche Faustdichtung den Menschen und der Menschheit?* Mannheim, 1927) трагедия Гете прокламирует основы буржуазного демократизма, вырастает в апофеоз республики и реформизма. К Бензингеру близок Ю. Баб, по мнению которого Гете написал «Фауста», руководствуясь «единственной целью» — показать, как высшая сила («Бог-природа») «ввергает в бури незрелого человека, зрелого же награждает в спокойном движении своего дня». Над его книгой реет дух мелкобуржуазного реформизма, враждебного революции, всему «вулканическому» и «катастрофическому» в социальной жизни (J. B a b, *Faust, das Werk des Goetheschen Lebens*. Stuttgart, Berlin, Leipzig 1926).

По Ф. Посту (F. R o s t, *Goethes Faust, eine Freimaurer Tragödie*, S. a), члену фашистской группки Людendorфа, в гетевском «Фаусте» запечатлена идеология «жидо-масонства», продолжающая смертельной угрозой нависать над не чующим опасности христианским миром. Олицетворяющий жидо-масонство Мефистофель через посредство соблазненного им Фауста губит Гретхен — немецкий народ, — не сумевшую дать отпора коварному злодею. Для основной фашистской прессы «Фауст» — книга о «сильном вожде», стоящем над толпой, и т. п.

Даже Генрих Риккерт, совсем недавно опубликовавший очень интересную работу о «Фаусте» (H. R i c k e r t, *Goethes Faust*. Tübingen, 1932), безусловно представляющую крупное событие в истории изучения гетевского шедевра, прикладывает

то и дело руку к травестии Гете, доказывая, что Гете не был в сущности спинозистом, что, обнаруживая в «Фаусте» черты законченного дуалиста, он гораздо ближе к Канту и Лютеру, чем Спинозе, и т. п.

Примеры можно было бы умножить, но и без того ясно, какими тенетами «истолкований» опутывает современная буржуазия трагедию Гете, приобретшую под ее руками все свойства Протее, питавшего, как известно, непреодолимую склонность к наименее ожидаемым превращениям, скрывавшим его подлинный образ.

При этом основное внимание подавляющего большинства пишущих о «Фаусте» направлено на II часть трагедии, из которой в свою очередь выделяется заключительный акт (который напечатан в настоящем номере), что не должно возбуждать удивления, так как во II части трагедии сосредоточен основной круг эпизодов, дающих материал для создания наиболее излюбленных «легенд» о «Фаусте».

«Эпилог на небе» доставил пищу легенде о приходе Гете к догматическому христианству (G. Kochheim, *Faust im Zeichen des Kreuzes*. Hamburg, 1932; F. Barth, *Das Christentum nach Goethes Faust*. 1932 и др.). Сцены 1—5 V акта II части породили легенду о том, что Гете вовсе не был горячим сторонником технического прогресса (Obenaue, *ibid*, и др., IV акт II части, особенно монолог Фауста:

....Находить

Во власти счастье должен повелитель... и т. д.

оплодотворил легенду о «Фаусте» как апофеозе «сильного вождя» типа Гитлера) и т. п.

Задача настоящего послесловия—наметить, опираясь на материал заключительного акта «Фауста», критику важнейших из указанных легенд. Обратимся с этой целью к трагедии Гете.

Основная ситуация 1—5 сцен V акта вырисовывается следующим образом: Фауст завершает свой жизненный путь созидательной работой на пользу общества. Некогда мятежный титан, которому мир рисовался в виде мрачной, достойной проклятия пропасти (часть I, сцена 4), изживает свой былой солипсизм, становясь организатором государства свободных, деятельных, способных созидать, покорять природу людей. Служить счастьем миллионов для него ныне «высший предел мудрости». Обенауэр по этому поводу замечает: «Здесь основное—идея, намерение, дело (die Tat), а не то, что в действительности создается», ведь все эти грандиозные плотины, каналы и пр., с помощью которых Фауст реализует свою идею,—дело рук Мефистофеля. Именно так должен говорить единомышленник Шпенглера, Вергсона и прочих современных машиноборцев, усматривающих все беды современности в «гибельном» для человечества развитии науки и техники. Ратуя за «обуздание» «взбесившейся машины», они и Гете стремятся представить апостолом чистой «духовности», видевшем в техническом прогрессе козни дьявола. Но то, что для них теперь «кухня ведьмы», для Гете в действительности было горячо желанным. Идеолог молодой буржуазии, он был причастен пафосу капиталистической стройки, развертывавшейся на его глазах в Англии, Америке, Франции. И если при этом Гете в капиталистическом прогрессе способен был видеть также и отрицательные стороны, значит ли это, что он был братом по духу Шпенглеру и Бергсону?

Однако явствует ли из самой трагедии, что Гете не придавал особого значения техническому прогрессу? Об эфемерности и нелепости предпринятых сооружений говорит Мефистофель. Но ведь то Мефистофель—сын хаоса и мрака, «некогда бывших всем», апостол разрушения и небытия, с презрением взирающий на созидательную деятельность престарелого Фауста. Правда, он как раз и выступает в роли строителя, но строит он, лишь подчиняясь непреклонной воле Фауста, питая отвращение к плодам своей вынужденной деятельности, мечтая о том дне, когда разрушение восторжествует над созданным. Его стихия—злостная ненависть к прогрессу в той мере, в какой последний знаменует победу жизни над небытием. Стихия векового Фауста—радость творчества, обращенного на пользу миллионов. Разве Шпенглеры с их жаждой смерти и ужасом перед успехами науки не ближе Мефистофелю, чем Фаусту заключительного акта трагедии?

Но даже заставив служить своим целям Мефистофеля, Фауст тяготится его помощью. Отнюдь не потому, что в нем просыпается христианин, желающий порвать греховную связь с адом, не то, чтобы он разделял уверенность Мефистофеля в эфемерности возводимых последним сооружений.

Еще свободно я не вел борьбы.

О если б магию сумел изгнать я...

С тобой, природа, бой грудь с грудью длить—

То было б ценно—человеком быть.

Приведенные слова станут понятны, если мы вспомним, что в сцене первой I части трагедии Дух земли именует Фауста сверхчеловеком. В качестве сверхчеловека Фауст проклял все земное, все человеческое как ограничивавшее его титанизм. Его сверхчеловеческие порывы были проявлениями «смутно бродившей» силы, но также бессилия, слепого бунта «скорченного червя». Это был гигант и в то же время Вертер, существо достаточно своеобразное, но вполне типичное для буржуазной литературы периода «бури и натиска». Достигнув на склоне лет «высшего предела мудрости», Фауст (Гете) понял, что только через приятие земного он может изжить в себе «скорченного червя», что его былой титанизм означал не только силу, но и слабость, что, как Антей от соприкосновения с землей удесятерил свою мощь, так точно и человек лишь тогда способен по-настоящему расправить свои крылья, когда он слит в одном порыве с себе подобными. Но на пути окончательного превращения Фауста в человека стоит Мефистофель (магия), неизменный спутник титанического периода его жизни.

Даже осуществляя все замыслы Фауста, он оказывается лишним, поскольку Фауст уже больше не нуждается в посредниках между собой и природой. Раз «подлинный человек» это тот, кто в себе самом находит источник всеобщей свободы, — падает необходимость в помощи сверхъестественных сил. Происходит своеобразная трансформация. Сбрасывая шелуху былого титанизма, «спускаясь» со сверхчеловеческих высот, Фауст вместе с тем приобретает черты Прометея, достигая подлинного величия. В Мефистофеле исчезает нужда. Более того: то, что создает Фауст, будет жить в о п р е к и Мефистофелю, будет жить как дело миллионов. Это и имеет в виду Фауст, когда говорит, что начатое им «не пропадет в зонах вечной темноты». Только идеолог молодого, безбоязненно глядевшего в лицо грядущему класса мог быть создателем сцен, подобных 5-й картине V акта «Фауста», напоенных пафосом творчества, веры в прогресс, радостью здешней человеческой жизни. Где же во всем этом антагонизм между «идеями» Фауста, одержимого «вполне христианским импульсом», и тем, что по его приказу реально создается, как началом дьявольским, на что намекает Обенауэр? Разве грандиозный канал, с помощью которого Фауст мечтает осушить болото, отравляющее воздух страны, не средство осуществления его «идеи», вне которого она мертва? И разве идея канала («последняя цель» Фауста) не означает вместе с тем идеи технического прогресса, обращенного на пользу коллектива? Здесь уместно вспомнить слова Гете: «При распространении техники не о чем беспокоиться; она мало-по-малу поднимает человечество над самим собою и подготавливает высшему разуму, чистейшей воле чрезвычайно подходящие органы». Набрасывая фигуру «очеловечивающегося» Фауста, Гете выступал идеологом входившей в жизнь немецкой промышленной буржуазии, не имевшей никаких оснований трепетать перед успехами науки и техники. Слова Фауста:

Стань твердо здесь, гляди вокруг: пред тем,
Кто полон сил, и этот мир не нем..



МЕФИСТОФЕЛЬ

Акварель М. Врубеля с дарственной надписью
художника

Третьяковская Галлерея, Москва

были манифестом этого класса, вовсе не порывавшегося к «погружению в ничто», но шедшего, засучив рукава, перестраивать мир.

Но вот Фауст умирает. Пред читателем—«Эпилог на небе», завершающийся словами «мистического хора». Только что отрешившись от порывов в потустороннее Фауста окружают образы, олицетворяющие собой это потустороннее—Мадонна, ангелы и пр. Для очень многих, писавших о «Фаусте», было загадкой, каким образом Фауст, в своих заключительных монологах вовсе не выказывающий себя набожным христианином (все его помыслы устремлены к земле, он ни на минуту не помышляет о небе), оказывается избранныком Мадонны, соучастником мистического торжества. Фр.-Т. Фишер (Fr.-Th. Vischer, Goethes Faust. Neue Beiträge zur Kritik des Gedichts. 1875) находил финал трагедии «смехотворным»; по Ф. Гундольфу (F. Gundolf, Goethe. Изд 12-е. 1925) «Эпилог на небе» не может быть назван «некатолическим» (unkatolisch), но может быть назван «негетевским и нефаустовским» (ungoethisch und unfauistisch). Иезуит Баумгартнер (A. Baumgartner, Goethes Leben und Werke, т. III, 1885) писал: «Фауст, гордый апостол реформации, чувственно-суеверный представитель мира немецкого колдовства, Фауст, чувственный поклонник персонифицированной в Елене античной красоты, Фауст, штурмующий небо титан эпохи революции, преклоняет (?)—и это финал,—словно на средневековой картине, колена перед Марией». В наши дни Кохгейм, Барт и др., как сказано выше, видят в заключительных сценах V акта приход Фауста (Гете) к догматическому христианству.

Действительно ли однако «Эпилог на небе» означает капитуляцию Фауста (Гете) перед христианской догматикой, признание Гете идеалов христианской церкви в качестве более высоких, чем те, которыми был охвачен престарелый герой трагедии? Если это так, то падает все здание трагедии, становятся необъяснимыми 1—5 сцены V акта, важнейшие в общей композиции произведения. К счастью мы располагаем очень ценным признанием самого Гете. В беседе с Эккерманом (1831) он сказал: «Согласитесь, что конец пьесы, где говорится о вознесении спасенной души, был очень трудно осуществим и что, имея дело с такими сверхчувственными, едва доступными нашему представлению вещами, я легко мог бы заблудиться, если бы не придал своим поэтическим намерениям благодетельно ограничивающую форму и телесность посредством фигур и представлений церковной религии». Гете достаточно ясно говорит, что образы церковно-христианской мифологии привлечены им с чисто эстетическими целями.

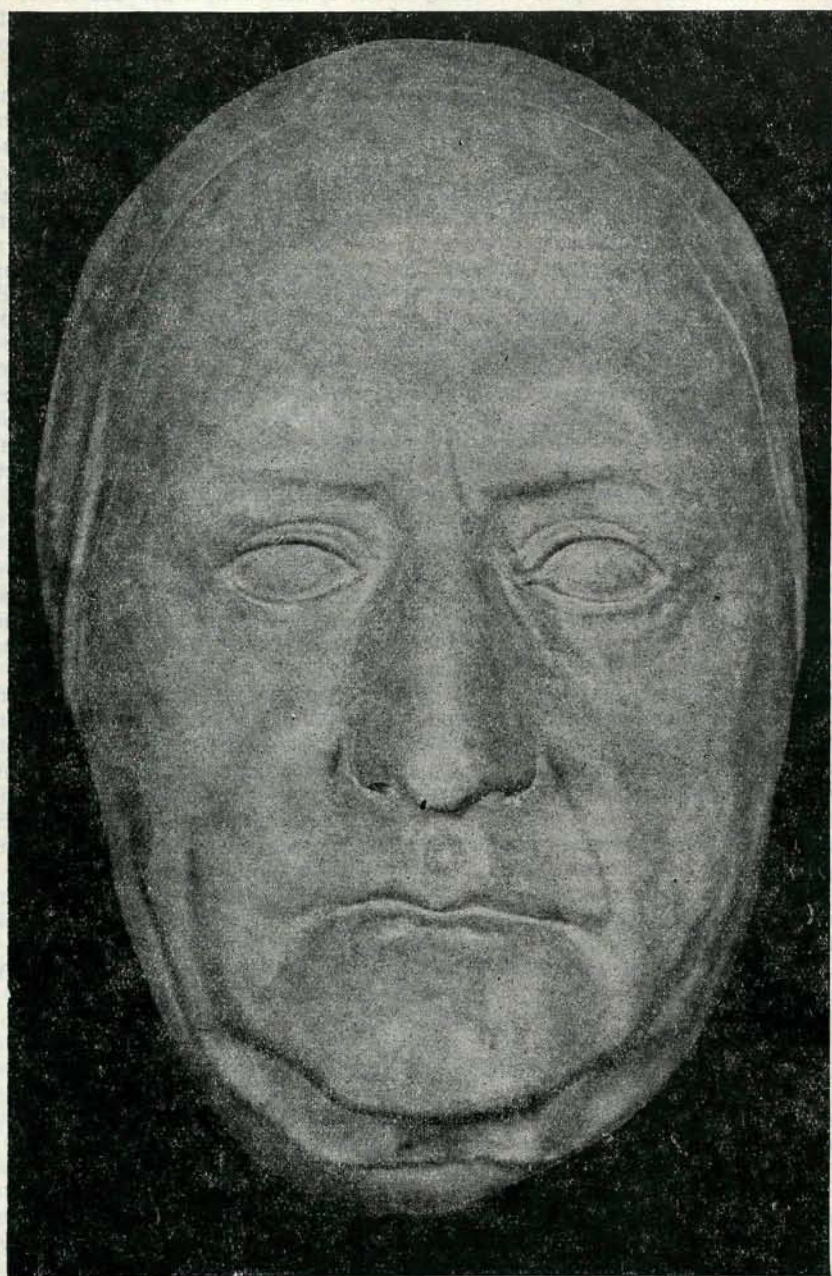
Это не значит, что, создавая V акт трагедии, поэт не верил например в загробную жизнь, что весь «Эпилог на небе»—своего рода поэтическая мистификация. Эккерман записывает слова Гете: «Мое убеждение в нашем посмертном бытии протекает из понятия деятельности (Tätigkeit), ибо, если я до самой кончины неутомимо действую (wirke), то природа обязана предоставить мне иную форму бытия, раз существующая уже больше не в силах удерживать мой дух».

Что говорят приведенные строки применительно к V акту «Фауста»? Фауст заслуживает бессмертия, переходя к иным формам бытия, именно потому, что он «стал твердо» на земле в качестве человека земли, развернув неутомимую деятельность. «Эпилог на небе» не только не отрицает земного пути Фауста, но он не был бы возможен, если бы Фауст не оказался гетевским Фаустом. В последнем случае его ждала бы участь спутниц Елены, слившихся со стихиями, поглощенных «эонами вечной темноты» (часть II, акт III, сцена 3-я).

Но что же означают образы церковно-католической мифологии, уснащающие заключительные сцены трагедии?

О центральном по своему значению образе этого ряда Г. Риккерт правильно замечает: «Mater gloriosa выступает не как дева «непорочного зачатия», но как покровительница любви, возникающей между мужчиной и женщиной» (см. слова, которые произносит Doktor Marianus). В числе ее спутниц находится Гретхен, некогда погибшая из-за любви к Фаусту. Заключительная сцена трагедии подводит нас к новому воссоединению Гретхен и Фауста, благословляемому Мадонной. Гретхен выступает в эпилоге не случайно. Эпилог в целом не что иное, как гимн «все образующей любви» (ср. «Эрос, который все начал», «классическая вальпургиева ночь»), любви как началу творческому, утверждающему жизнь. Ненавидящий все живое Мефистофель (и его слуги), для которого «вечная пустота», небытие—предел желаний, не выносит «ясного пламени» огненных роз, олицетворяющих все ту же любовь.

О любви как символе жизни говорят святые отшельники, например Pater Profundus, рисующий картину деятельной природы, непрестанно творящей себя, в которой силы разрушения в то же время оказываются силами созидания, равно являясь проявлениями «любви всеисильной», «что все рождает, все хранит» (пер. Н. Хо-



Маска Гете
Институт Русской Литературы, Ленинград

лодковского). В 1782 или 1783 г. Гете писал: «Природа... зрелище ее всегда ново, ибо она создает все новых зрителей. Жизнь—прекраснейшее ее изобретение, и смерть—ее уловка иметь много жизни... Ее венец—любовь. Только через любовь подходишь к ней. Она полагает пропасти между всеми существами, и вот все хочет сплестись друг с другом. Она все отделила, чтобы все связать воедино...» Когда Фауст был апостолом солипсизма, он погубил Гретхен. Но после того как он восторжествовал над Мефистофелем, отдавшись творчеству на благо человечества, после того как он слился с миром, разрушив преграды между своим «я» и существующим, он оказывается желанным соучастником космического праздника «все образующей» «вечно творящей» силы. Триумф Фауста в заключительных сценах трагедии—это триумф примирившегося с землей, ставшего человеком. Как «лучшая часть» его человеческого существа (часть II, акт IV, сцена 1-я) Гретхен возвращается к нему (акт V, сцена 4-я). Любовь, а следовательно—жизнь, творчество торжествуют.

Теперь понятно, как понимать слова Гете, что он обращается к «фигурам и представлениям» церковной религии, дабы «не заблудиться» при изображении «сверхчувственного». Воспользовавшись образами церковной мифологии, Гете наполнил их не «католическим» (или протестантским), как полагал Гундольф, но именно «гетевским» или «фаустовским» содержанием.

Даже идея искупления, намеченная в эпилоге, за которую судорожно цепляются идеологи протестантизма, вовсе не опирается на почву протестантской догматики. Сохранились слова Гете: «В самом Фаусте все более высокая и чистая деятельность (Tätigkeit) до кончины, и сверху ему на помощь сходящая вечная любовь». «Ставший человеком», проявивший себя в творческом социально полезном порыве Фауст тем самым уже вошел в поток мировой творческой стихии, отчего «вечная любовь», персонифицированная в образах эпилога, сходит к нему лишь «на помощь», как к существу ей причастному, вовсе и не могущему быть «осужденным».

Так уводя нас «из мира», эпилог, в сущности, приводит нас обратно «в мир» («Aus der Welt—in die Welt». «Сказка» из «Бесед немецких эмигрантов»), поскольку венчает земной путь Фауста гимном мировой «любви», ярчайшими проявлениями которой в жизни Фауста были Гретхен и его борьба за счастье «свободного народа» на освобожденной от власти стихий земле.

Где же во всем этом капитуляция Гете перед церковно-христианской ортодоксией? Даже сделав на склоне лет ряд уступок христианству, Гете никогда не доходил до коленопреклоненного культа его, о чем так великолепно свидетельствует заключительный акт «Фауста», такой «не христианский» и такой «гетевский». Тем не менее легенда о «Фаусте» как апофеозе церковного христианства играет с годами все более заметную роль в буржуазном литературоведении Германии. Стремясь воспользоваться Гете как знаменем в развертывающейся классовой борьбе, современная буржуазия всеми средствами пытается изобразить его оплотом христианства, столпом католичества, либо протестантизма. Наша задача—и впредь разоблачать легенды о великом писателе, искажающие его подлинный облик, «приспосабливающие» его к нуждам мировой реакции.

Б. П у р и ш е в